

РВВ

Основана М. В. Баконъ

Цена отд. № въ С.-Петербургѣ и въ провинціи 5 коп.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:	12 м.	11 м.	10 м.	9 м.	8 м.	7 м.	6 м.	5 м.	4 м.	3 м.	2 м.	1 м.
Въ Россіи . . . Р.	12.—	11.—	10.—	9.—	8.—	7.—	6.—	5.10	4.15	3.15	2.15	1.10
За-границу . . Р.	20.—	18.50	17.25	15.75	14.25	12.75	11.—	9.50	7.75	6.—	4.—	2.—

Для сельскаго духовенства, сельскихъ учителей, для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, фельдшеровъ, крестьянъ, рабочихъ и приказчиковъ при непосредственномъ обращеніи въ главную контору: на 12 м.—9 р. 9 м.—6 р. 75 к.; 6 м.—4 р. 50 к.; 3 м.—2 р. 40 к.; 1 м.—85 коп.

Подписываться можно на всѣ сроки, но не иначе какъ съ 1-го до 1-го числа и не далее какъ до конца года.

Въ кредитъ, наложеннымъ платежомъ и въ разсрочку газетъ не высылается.

При перемѣнѣ адреса, возобновленіи подписки и всякаго рода справкахъ иносѣ городонихъ подписчиковъ сообщать № нумерации, а иногороднихъ—адресъ и №, указанный на ярлыкѣ, или прислать бандероль, подъ которой высылается газета.

Наждая перемѣна адреса: петербургскаго на петербургскій—10 коп., въ остальныхъ случаяхъ—40 коп. (можно почт. марками). При перемѣнѣ адреса изъ Россіи за-границу доплачивается еще разница между подписной цѣной. Подписная плата марками и купонами не принимается.

За-границей на газету „Рѣчь“ можно подписываться: въ Германіи Австро-Венгріи, Швейцаріи, Бельгіи, Голландіи, Даніи, Швеціи, Норвегіи, Сербіи, Болгаріи, Румыніи и Черногоріи—въ мѣстныхъ почтовыхъ учрежденіяхъ, а въ Турціи и Греціи черезъ посредство германскихъ или австрійскихъ почт. учреждений. Въ этомъ случаѣ, въ виду сокращенія расход. на пересылку, подписная цѣна значит. ниже вышеуказанной—при выпискѣ газетъ изъ главной конторы.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ И ГЛАВН. КОНТОРЫ: Спб., ул. Жуковскаго, 21; для телеграммъ: Спб., Рѣчь. Телефоны редакціи 7-28 и 7-37; главной конторы 445-04.

ГОРОДСКАЯ КОНТОРА: Спб., Невскій пр., 13, ул. Морской ул. вблизи. Тамъ М. О. Волковъ. Тел. 420-87.

РЕДАКЦІЯ для приема объявленій открыта ежедневно отъ 9 до 4 дня, кромѣ праздниковъ. Рукописи разбираться не могутъ, поэтому, прежде, нежели изъ редакціи и приниматься въ разсужденіи, употребителю.

ГЛ. КОНТОРА открыта отъ 10 до 5 ч. (Отъ 15 мая по 15 авг. отъ 10 до 4 ч.). На праздн. дни отъ 1 до 3 ч. По воскрес. и другимъ праздн. контора закрыта.

ЦѢНА ОБЪЯВЛЕНІЙ:

Впередъ гонимъ—70 коп., позадъ гонимъ—35 к. за строку конпарате. Объявленія о книгкахъ и журналахъ по субботамъ изъ 1-ой стр. на цѣнѣ послѣдней.

Объявленія врачей и пачебныхъ лавокъ гонимъ въ отъѣздѣ „Врачебный Указатель“—15 коп. на строку, а при мѣсяцѣ гонимъ при условіи ежедн. печатанія—12 коп.

Мелкія объявл. гонимъ гонимъ въ 1 колонку до 10 строкъ и строкъ и предъ. гонимъ 3 строкъ 25 к., малѣйша строкъ гонимъ—10 к.; 6) наемъ и отплата комнаты, квартала и т.д.—15 к. за кажд. строку.

За объявленія въ надъ. вкладн. прилож. въ газетѣ: гонимъ до 1 стр. за 100 коп.—10 р. за кажд. стр. гонимъ—2 р. 50 к. за тѣмъ.

Марками и купонами платѣ въ объявл. не принимается.

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются въ главной конторѣ „Рѣчи“—ул. Жуковскаго, 21; тел. 157—76; въ городской конторѣ „Рѣчи“—Невскій, 13, ул. Морской ул. вблизи. Тамъ М. О. Волковъ. Тел. 420—87 и въ Центральной конторѣ объявленій Тамъ Дома Л. и Э. МЕЦЦЕЛЬ и Н. С. ПЕ. Морская, 11 (тел. 9—88). МОСКВА—Мещинская, д. Ситова; ВАГ. ШВАБ—Маршальская, 13. После 5 ч. д. не принимаются объявленія. Битѣ сдѣлать въ наборную газету „Рѣчь“, ул. Жуковскаго, 21 тел. 7—29.

№ 177 (2846)

С.-Петербургъ, среда, 2 (15) іюля 1914 г.

№ 177 (2846)

Памяти Чехова.

В десятилетнюю годовщину смерти Чехова хочется говорить о нем, не как о писателе (его мы не потеряли), а как о человеке. Поскольку он выразился в своих письмах. О них недавно появились в Москве и теперь написанные брошюры Семёна Краина.

Конечно, каждый писатель свое настоящее и лучшее выражает не в письмах, а в писаниях, — в священном писании своего таланта. Вот почему иные авторы (Голубаров, например) так решительно и щепетильно относятся к своей переписке и не хотят, чтобы школьники и случайные читатели их частной корреспонденции, эти порою безразличные, порою забавные листы почтовой бумаги сближались когда-нибудь с достоянием всего общества. Кажется, такая персональная политика бы Чехова, — настолько интеллигентна и стыдлива была его душа; и это — лишь одна из его многих и милых шуток, впрочем, представляющая жизнью из серьезного, впрочем, еще в 1886 г. он пишет юмористу Щеглову: «Так как это письмо, по всей вероятности, после моей смерти будет вклеено в сборник моих писем, то прошу вас вставить в него несколько какабуров и парочек». На самом деле, если вообще читать чужие письма так беспрочно, то глубокую скромность Чехова, дух его, витающий среди нас, мы отнюдь забываем особенно болезненно, и тогда смотреть на нас с укором его печальные близорукие глаза, и хочется просить прощения у его ослепленной тени. Но нет, саль от этой нескромности отказаться и не читать его писем. Да и вообще, по возможности, избравши человека, наши великие люди, никогда не будут опрашены в восторг от нарушения своей почтовой тайны, так как мы — правильно или неправильно — считаем их чужим, нашей духовной собственностью и, в силу естественного интереса к ним, признаем за себя право заглядывать в их частную жизнь, за кулисы их творчества. В данном случае, по отношению к Чехову, наше внимание к его письмам еще более объясняется тем, что они — тоже творчество, что они тоже представляют собой чужой и литературный и памятник, художественную красоту. В нашей эпистолярной словесности займут они одно из первых мест. Литературны без литературности, непринужденны, без чванства богаты перлами остроумия и юмора и простоты, полны оригинальных критических суждений, звучащих поэтично и музыкально тонкой мелодией единственно чеховского настроения, письма Чехова похожи на его рассказы: от них трудно оторваться. Распечатать письмо от Чехова, пробовать его бисерные строки, — это, вероятно, было удивительным наслаждением: будто бы свои конферты вкладывал он в драматичные крупицы своего таланта.

Конечно, ему можно явиться перед

читателем в домашнем виде, в обиходных душевных бултых: он не разочаровывает. Из тихого испуга, которое ему предвещали читатели его переписки, он выходит с честью. Еще обязательнее выступает перед нами его избранный, его благородная личность. Ток душевной чистоты и красоты плетет от его писем; они волнуют, и возникает к Чехову-человеку неопределимая симпатия. В его письмах раскрывается душа матерая и тихая; нет пафоса, буря, легкой страстности и рбких тонков; охоту присущенный, что-то занавешенное, но усиленно бьется сердце, не громкий теоретик у этого человеческого голоса. Но зато перед нами личность, которая не забывает больше алка в себя, чем в себя; с письмами чувствуется вторая жизнь, далекая оптимистическая душа. «Около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее»; поэтому он еще более замыкается в себя, и там, в этой последней уединенности сохраняет изумительную свободу духа, трудную и дорогую простоту. Чехов — человек не на лозьях. «Свободный художник» не только в своих произведениях, но и в своей жизни он самостоятелен. Сдержанный, но не скупой, одинокий и сильный, он не поддается реальности, как система душевных, и с дороги правды, своей правды, не соображает этого уверенный и вылет с тем скромным шутлив. Он сочетает в себе деликатность и сильную волю; неуступчивый в главном, в серьезном, в святом, он так податлив, правдиво, щедро, правдиво, любезно и услужливо, где это не посягает на его свободную художественность и свободу человека. Но Чехов, уединенный, не мизантроп. Напротив, его влечет к людям, к гостям, и очень много в его душе обжигается именно тогда, что «господа люди» пробуждали в ней как силу притяжения, так и силу отталкивания. Психологическая игра на этой противоположности сближения и отталкивания его писем, этих отзвуков и слез, друзей, танцев к чужой свободе, соседей, друзей, танцев к чужой свободе, — но вечно, юнговителю юмора, отчасти силой гоголевского прозрения видит Чехов обычную картину людской суетности, спектакль наших пороков, и крутом — фальшь, лицемерие, завистничество, и в пустыне или мертвых душах вьет себя привабливая тизада почтой злобы, клеветы, сплетен. Он не любит шума, рекламы, публичных выступлений; он «не обдаёт на юбилейных тех писателей, которых не читал»; он одержим «боязнью пространства», и хотя у него «ост фраз», но «силь охоты и умения читать»; на успех, овации он, застенчивый, больше всего отбывает «утомлением и желанием бежать, бежать», — и все-таки приходится ему с затаенной горечью писать эти на вид спокойные, равнодушные строки: «Я отроду никого не просил, не просил ни разу слова, и Буренину это известно очень хорошо, и завязать это ему понадобилось обвинять меня в саморекламирании и оказывать меня

полюми — одному Богу известно». «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне изобретательного и для меня непонятного»; и, молча 17 октября 1896 г. в Петербурге прощается «Чайка», то, — пишет Чехов, — «меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство: и именно, то, что кляма я до 17-го дружил с приятельски оживленным, бездельным, да, за кого давал копей, — все эти были странное выражение, ужасно странное... Я не могу забыть того, что было, пока не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили». Но будь этой запыленности человеческих душ, «лишь возмущенную бы состояла из радости, а теперь она из половины противна». При таких условиях, при таком логическом содействии, как же не поосторожиться и отойти, не прикрыться шуткой, не опустить той душевной занавески, которая Чехову столь необходима? Мелкая, хотя бы образы застенчивых людей, какая-нибудь чужая девушка, Лисус милая, умный собеседник, жопшник из тех, что красят жизнь, с хитрым Ливтаревым, например, дети, радующая сердце, и где-нибудь в деревне или в комнате московского дома-момеда смущает по шутке, пишет разговор задумчивый Чехов. По существу своей натуры он общителен. «Я положительно не могу жить без гостей. Когда я один, мне почему-то становится опрощено, точно я среди великого океана плыву солоником на утлой лодке... Когда я вырасту большой и буду иметь собственную дачу, то построю три фангеля специально для гостей обоего пола. Я люблю шутить больше, чем говорить». Но не всё тогда стоит деятельности. Слишком достаточно поводов находить для себя и сил отталкивания; обжигается пустота, расстояние между писателем и другими людьми. Изынанный средь грубых, он страдает и уходит. В одиночестве грустно Чехову, но он спокоен. Совесть у него чиста. На слышится в его письмах жажда, изысканные ноты; у него и желания нет становиться в позу, восмалать себя на выставку, создавать себе эффектное общество. Он ни у кого не замечает — ни у Пушкина, ни у Крылова, ни у консерваторов, ни у либералов: сам по себе, на гордый ослепление, живет он один в закон своей духовной тишины. Внутренняя свобода, нравственная опрятность и независимость: все это — его органическое состояние, его натура — он никак не уметь. Впрочем, если верить самому Чехову, он, чтобы этого достигнуть, должен был одержать победу над своим воспитанием и средой, должен был переселиться в самое природу свою. «Что писатель-дворянин брал у природы даром, то разночинцы покупали ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший заводчик, пивный, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, избывании поповских рук, похитивший чужим окладом, благодаривший за каждый кусок хлеба, одного раз съезжал, ходивший по урокам без казона, дравшийся, мучивший животных, любивший обдавать у богатых родственников, любивший и Богу, и людям без

всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдвигается из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая». «Напишите рассказ»... Но замечательно, что если бы темы для него не давал сам Чехов, то никто бы и не заметил этого ирреверентия, этого предостережения рабских начал, так как уже в самых ранних письмах Чехов — свой, а не чужой, и обнаруживается аристократичность его нравственной природы, та врожденная «легкая душа», без духоты, то «око доброго человека», которых он ждал от своих корреспондентов — и чаще всего ждал напрасно. В своих требованиях к людям Чехов очень далеко от моральной педантизма; он не переносит одной только пошлости, своего лютяго врага, который угнетал его и как писателя, и как человека. Ему нужно, чтобы мы брали друг от друга одно только хорошее, его замечали, или дорожили. «У Ноя было три сына: Осьм, Хам и, кажется, Лафет. Хам замечал только, что отец его — пьяница, и совершенно упустил из виду, что Ной генерал, что он построил ковчег и спас мир». О, этот второй сын Ноя, этот вечный Хам, предок многочисленных потомков! В беззастенчивых разномыслиях являлся он перед Чеховым, открытый или в футляре, а футляры наш писатель видел разные, — между прочим, и либеральный, тот ярык, которым мы «глубокие дураки» ополчаем великую традицию свободы. «Шестидесятые годы, это — святое время, и позволять глубоким дуракам уверивать его — значит ополчать его». Не приписаны ли к какому лагерю, «дикой» и в своей жесткости такой терпимый, либерал души, Чехов не переосилил фирму и умственного сепаратства; «я ненавижу ложь и насилие во всех их видах; фарисейство, тупоумие и произвол царя не в одних только купеческих домах и кулуарах; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи». В припадке или непринятии людей он руководится не обычными грубыми мерилами: для него, художника, главную роль играют художественные, тонкие признаки, отсутствие или присутствие высшей эстетичности, «человеческого таланта»; иной раз одно слово, один жест значат больше, чем объективные достоинства или недостатки. И омере, охотнее Чехов принимает, чем отвергает. У него есть стремление найти хорошее, хорошее; у него — изумительно-бережное обращение с чужой душой, неограниченная, музыкальная чувствительность. И в крупном, и в мелочах он жил так, что никому не дала больно и никто об него не ушибался. Облегчать отягощения, выбирать соответственные, успокоительные слова, разрешать жизненные неразрешимые для ли-кто-нибудь умел лучше, чем он. Вспомните хотя бы его переписку с чужими авторами-самолюбями. Многие писатели спрашивали у него мнения о своем творчестве, и посторонний рукопи-

сп на его стол часто занимал больше места, чем собственные; и за этим столбом он, как герой своего рассказа, нередко в изнеможении выслушивал эпопею какой-нибудь убийственной дамы. Но Чехов не бросал в нее пресс-папье. Никому не отказывал он в своем совете и оценок. Это так легко обидеть, огорчить, — сп же, не поступаясь правдой, всегда находил для нее, для этой подчас горькой правды, такой тон, такую душевную нитиацию (вообще, всю его писательскую и человеческую мудрость дала ей невоспроизводимый тон), что едва ли кто-нибудь от его рецензий, соображений откровенности и пошлости, испытывал обиду и боль. Так звучали слова Чехова, что сами авторы, вероятно, не без удовольствия читали на своей отчет его безобидные шутки: «Знаки трагизма, служащие потаком при чтении, расставлены у нас, как пуговицы на мундире гоголевского горючичаго»; «это не рассказ, а длинный ряд тяжелых угрозных казарм». Как редактор, Чехов и передвигал теория начинающих авторов; про один такой случай он пишет: «Из корабля я сбавил гвоздь», и, вероятно, сам строитель опрокинутого корабля должен был признать, что гвоздь оказался лишним. Чехов знал, как жестоко и тяжело разрушать чужую иллюзию, и как это, однако, необходимо порою в интересах самого иллюзиониста; и Чехов хвалит все, что можно было похвалить. Он понимал, какое счастье испытать он сам, почти неизвестный литератор, когда получил от Григорьевича письмо, восхвалявшее его робкий, еще не уверенный в себе талант. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит вашу старость; я же не найду ни слов, ни дела, чтобы благодарить вас».

Сердечность Чехова, хотя и прикрываемая, все-таки светит и греет в ласковом звучании его писем, в этом именно из сердца плывущем утешении с каждым отсылать надлежало, а действительно, сближением чужой души. Замечательно в этом смысле, например, его письма к родственникам, людям совсем другому, развитому, других интересов и привычек; невыразимо-прекрасные письма к детям и о детях, которых так любил Чехов-человек и Чехов-писатель. Он не только сочинял для них какие-нибудь «Солнышко в шляпке», пропущенные «Павлом Пузыковым» и «одобренные ученым комитетом» не только для детей, но даже и для генералов, архимандритов, непреклонных членов писательского, но и вообще согласился бы с Достоевским, что «через детей душа летит». Маленький гимназист с большим раннем, с «то-варным вагоном» на спине зажимал прилетевшие огорчения юмора и ласки в его утомленных глазах. «Чтобы окрылить и обновить воздух в своей квартире, и полет к себе в жилищаю молодость в об-

раз гимназиста-перокласника, ходящего на голову, получающего едипы и прыгающего встать на спину... К Филлику приходил Ильяш в изнеможении выслушивать эпопею какой-нибудь убийственной дамы. Но Чехов не бросал в нее пресс-папье. Никому не отказывал он в своем совете и оценок. Это так легко обидеть, огорчить, — сп же, не поступаясь правдой, всегда находил для нее, для этой подчас горькой правды, такой тон, такую душевную нитиацию (вообще, всю его писательскую и человеческую мудрость дала ей невоспроизводимый тон), что едва ли кто-нибудь от его рецензий, соображений откровенности и пошлости, испытывал обиду и боль. Так звучали слова Чехова, что сами авторы, вероятно, не без удовольствия читали на своей отчет его безобидные шутки: «Знаки трагизма, служащие потаком при чтении, расставлены у нас, как пуговицы на мундире гоголевского горючичаго»; «это не рассказ, а длинный ряд тяжелых угрозных казарм». Как редактор, Чехов и передвигал теория начинающих авторов; про один такой случай он пишет: «Из корабля я сбавил гвоздь», и, вероятно, сам строитель опрокинутого корабля должен был признать, что гвоздь оказался лишним. Чехов знал, как жестоко и тяжело разрушать чужую иллюзию, и как это, однако, необходимо порою в интересах самого иллюзиониста; и Чехов хвалит все, что можно было похвалить. Он понимал, какое счастье испытать он сам, почти неизвестный литератор, когда получил от Григорьевича письмо, восхвалявшее его робкий, еще не уверенный в себе талант. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит вашу старость; я же не найду ни слов, ни дела, чтобы благодарить вас».

Душевная внимательность Чехова проявляется не только в словах, его моральное сострадание сказывается не только в чуткости личных отношений: его письма показывали нам, что тот Чехов, который в своих произведениях выступал, как мечтатель, как философ, как лирический человек, как со-зерцатель и поэт «пейзажа», — он в своей личной жизни был ужасно работящий. В творчестве своем, не любя дельца, он мало изображал и дельца: в действительности же он сам был именно дельцом. Поразительно такое сочетание: Чехов-мечтатель, — между тем, оно реально. Земский врач, земский практик старой симпатичной складки, провинциальный труженик, амурный сотрудник в честном и черном труде, работник-домохозяин, участник застолья, описей, статистики, прилежный слуга земской нивы, — это все вместе, оказывается, в утонченной личности изысканного, замечательного художника, психолога тонких настроений, творца провинциальных эстетов. Чехов проводил свое, строил школы, строил пожарный сарай, на колокольню выпрыгивал из карманов кресты; во время открытия образ и хлеб-соль, говорят благодарственную речь. В годовой 1892 году Чехов так много работает в борьбе с голодом. Когда прозвучит холера (что-то гнусное, угнетающее и маральное есть в самом слове холера), Чехов-санитарный врач, без жалованья. Сам больной, слабый, близорукий, какая-то хрупкая человеческая драгоценность, он хлопотет, думает («с августа по 15 октября записал 500»), идет по северным дорогам, моет на проливном дожде, трудится, не покладая рук, — благословенной руки писателя. «Дорог я не знаю, по вечерам ничего не вижу, денег у меня нет, утомляюсь я очень скоро». «Моя лень оскорблена во мне глубоко», потому что он думал поэтической ленью и, как Пушкин, больше всего любит «прекрасное волюму, подругу размышления», светлую незабвенность. Но эту стихию художника, своего прекрасного пейзажиста из «Дома с мезонином», он с себя покорил, сбавил великое дополнение и потратил к самому себе, и вот он не только восхищается культурной деятельностью врачей, устлал земской медициной, но и сам приносит сюда свою труженическую долю. Так счастливо, что у него нет ложного стыда, ложной бра-дильности, что эта аристократическая организация, эта душа-принцесса, красавица, одинокая и печальная, и себя приобретает

в материальной прозе, в неэффективной работе жидка. Вообще, соединение в Чехове поэта и врача, идеалиста и, если хотите, материалиста — единственное в своем роде. И хотя ему, поэту, «противно писать цифрами», он не отказывается от них, — «моя бедная муза надела сильные очки и занимается этнографией и геологией». Трогательно то, что он гордится своей «аженой» окупацией, не сердится на все эти старосты, масла, не гнушается зрелищем своей деревенской амбулатории. Да и как же иначе? Виде он собственной красотой продолжает украшать жизнь; он глубоко убежден в соединении душевного идеализма с самой материалистической профессией. И поради этой писательской обязанности за психолога: «все гинезадо-ли-идеальности»; один из них ходит на первую презентацию и «потом громко бранится около вешалок, (жесткой шпирх!), улыбая, что авторы обязаны изображать одних только идеальных женщин».

Письма рисуют Чехова далеко не равнодушным к русской общественности. Он так приветствует юбилей Чупрова: «Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек»; он оцпывает молебень по случаю бунта, «окропление розов святой водой»; в Венеции думается о том, что «русскому человеку, ближнему и принаженному, зде в мир красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума»; пророчески говорит о Норте-Артуре Чехов, что с этим незамерзающим портом, с этой «незамерзающей белоснежной на восточном берегу», мы «наживем себя массу хлопот», и он «обойдет нас дороже, чем если бы мы вздумали завоевать всю Японию».

Та горькая игра на силах притяжения и отталкивания, которую переживает в себе Чехов по отношению к людям и которая от оскорбленной общительности заставляла его уходить в одиночество (кто не получает соответственной реакции, тот молчит), — она же характеризует и его общее восприятие жизни. Это же борются между собой жизнелюбие и апатия, искрометная шутливость и грусть. Чувство жизни и равнодушие к ней, омерзение и безразличие, на глубокой подпочве меланхолии, одерживают попеременно победы. «Жить не особенно хочется и жить как будто бы надоело»; «не знаешь, что делать с жизнью»; «когда я бываю серьезен, то мне кажется, что люди, питающие отвращение к смерти, не логичны»; «надоело собственное присутствие». На охоту вместе с Левитаном убил он вальсшпана, и от этого самому больно и совестно: большие черные глаза птицы, «удивленной» смертью, прекрасная одежда, — «одним красивым влюбленным созданием стало меньше». Это настроение вырастает от более сильных жизненных зрелищ, — того, например, которое влохновило на Гусева: «когда глядя, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, вывр-

каю, въ воду, и когда вспоминаешь, что до два нѣсколько верстъ, то становится страшно и почему-то начинает казаться, что самъ утонул и будешь брошенъ въ море». Вотъ похороны на Сахалинѣ: «холодно, сыро; въ могилѣ вода; каторжные омыются; видно море». И въ то же время сердце раскрыто для всѣхъ тонкихъ нюансовъ жизни, для идущихъ отъ нея красотъ и радостей. И въ душѣ, которая такъ умѣетъ грустить, въ этой же печальной обители, непослѣдовательно и странно, но столь желанно, бьетъ ключъ остроумной проказливости, стихія неудержимаго юмора. Сцена въ вагонѣ: «Маша (сестра Марин Павловна) во всю дорогу дѣлала видъ, что незнакома со мной и съ Семашко, такъ какъ съ нами въ одномъ вагонѣ ѣхалъ проф. Стороженко, ея бывший лекторъ и «заменаторъ». Чтобы наказать такую мелочность, я громко рассказывалъ о томъ, какъ я служилъ поваромъ у графини Келлеръ и какіе у меня были добрые господа; прежде чѣмъ выпить, я всякій разъ кланялся матери и желалъ ей поскорѣе найтись въ Москвѣ хорошее мѣсто». Про ту же любимую сестру, «стерегущую нашу репутацію со строгостью и мелочностью придворной дамы, честолюбивую и нервную», мы узнаемъ, что она «ходила къ подружкамъ и всюду трезвонила», когда Чеховъ получалъ отъ академіи пушкинскую премію и, уже не Чеховъ, а «Шиллеръ Шекспировичъ Гете», чувствовалъ себя въ эти дни «какъ влюбленный». Случилось Чехову и шаферомъ быть, на свадьбѣ доктора съ поповной: «соединеніе началъ умерщвляющихъ съ отиѣвющими». Вотъ онъ «вернулся съ охоты: ловилъ раковъ». Поймалъ одного голова, но такого маленькаго, что въ пору ему не на жаркое идти, а въ гимназій учиться». Знакомаго поэта Чеховъ величаетъ: «Ваше Вдохновеніе». На представленіи «Иванова» только два актера знали роль.—«остальные играли по суфлеру и по внутреннему убѣжденію». «Въ Екатеринбургѣ всѣ извозчики похожи на Добролюбова»; нѣкто, «заграммированный Надсономъ, старается дать понять, что онъ писатель». «Чтобы вынырнуть изъ пучины грошевыхъ заботъ и мелкихъ страховъ (мучить, какъ зубная боль, безденежье), для меня остался только одинъ способъ—бесправственный: жениться на богатой или выдать «Анну Каренину» за свое произведение». «Весьма утѣшительно, что меня перевели на датскій языкъ. Теперь я спокоенъ за Данію».

Всѣ эти шутки и вся эта милая интимная жизнь (то, что онъ любилъ хорошую почтовую бумагу и купилъ себѣ новую чернильницу, и купилъ себѣ за границей три шелковыхъ галстука, и фля «художественные вареники»),—это въ его письмахъ не только не оставляетъ насъ безразличными, но и заинтересовываетъ и р о д и т ѣ съ Чеховымъ, и радуешься вмѣстѣ съ нимъ, радуешься за него этой новой чернильницѣ и дорогой бумагѣ. Это все—отъ солнца, которое такъ вѣчно любилъ въ вечеръ сумерекъ и сумерекъ людей. Это все—отъ весны, которую такъ благодарно чувствовалъ и желалъ человекъ, одолѣтый осенней тоскою. «Глядя на весну, мнѣ

ужасно хочется, чтобы на томъ свѣтѣ былъ рай». «Весна. Оборотъ всѣхъ гостей. Шумъ. Если бы я служилъ въ департаментѣ государственной полиціи, то написалъ бы цѣлый докладъ на тему, что приближеніе весны возбуждаетъ безсмысленныя мечтанія». «У насъ природа грустнѣе, лиричнѣе, левитаннѣе» (чѣмъ въ Крыму, гдѣ «вѣтеръ—сухой и жесткій какъ переплетъ»). Другъ Левитана, другъ «левитанской» природы, Чеховъ далъ въ письмахъ такія картины ея, что онѣ просекаются и въ его рассказы; да и вообще, въ этихъ письмахъ виденъ тотъ прекрасный матеріалъ, изъ котораго строилъ онъ свое художество. Поэтъ благо, живописецъ благо, цвѣтовъ вишневаго сада, уже показывающіе себя въ этихъ прелестныхъ строкахъ: «Стволы яблонь, грушъ, вишенъ и сливъ выкрашены отъ червей въ бѣлую краску; цвѣтутъ всѣ эти деревья бѣло, отчего поразительно похожи на невѣсты во время вѣнчанія: бѣлые платья, бѣлые цвѣты и такой невинный видъ, точно имъ стыдно, что на нихъ смотрятъ. Каждый день рождаются миллиарды существъ». «Тихія, благоухающія отъ свѣжаго сѣна ночи, звуки далекой, далекой хохлаткой скрипки, вечерній блескъ рѣкъ и прудовъ, хохлы, дѣвки... Соловей свилъ себѣ гнѣздо, и при мнѣ вывелъ изъ яицъ маленькіе, голенькіе соловейчички... На пастбищѣ обитаетъ дѣдъ, помниціи царя Гороха и Клеопатру Египетскую». «У насъ великолѣпный садъ, темныя аллеи, укромныя уголки, рѣчка, мельница, лодка, лунныя ночи, соловьи, индюки... Въ рѣкѣ и въ прудѣ очень умныя лягушки. Мы часто ходимъ гулять, причѣмъ я обыкновенно закрываю глаза и дѣлаю правую руку кренделемъ, воображая, что вы идете со мною подъ руку». «Природа и жизнь построена по тому самому шаблону, который теперь такъ устарѣлъ и бракуется въ редакціяхъ: не говоря уже о соловьяхъ, которые поютъ день и ночь, о старыхъ запущенныхъ садахъ, о забытыхъ наглухо, очень поэтичныхъ и грустныхъ усадьбахъ, въ которыхъ живутъ души красивыхъ женщинъ; не говоря уже о старухѣ, дышащихъ на задонѣ лакеяхъ-крѣпостныхъ, недалеко отъ меня имѣется даже такой забытый шаблонъ, какъ водяная мельница съ мельникомъ и его дочкой, которая всегда сидитъ у окна и, повидимому, чего-то ждетъ».

Поэтическая идиллія радовала Чехова; чувствовать себя «лордомъ», т. е. не платить за квартиру, а жить въ собственномъ «имѣніи» (къ живому инвентарю его были причислены и два щенка—Мюръ и Мерплизъ, или два такса—Бромъ и Хипа), это было восхитительно; посадить самому 60 вишенъ и 80 яблонь—такая радость! «Ужасно я люблю все то, что называется въ Россіи имѣньемъ: это слово еще не потеряло своего поэтического оттѣнка». Въ имѣніи, на лѣтѣ деревенской тишины, скучно, однако, безъ музыки, безъ литературы, безъ вѣстей о Толстомъ («напишите мнѣ что-нибудь про Льва Толстого... Толстой-то, Толстой! Это по нашему времени не человекъ, а человѣчище, Юпитеръ»). Особенно трудно зимою: «однобразіе сугробовъ и голыхъ деревьевъ, длин-

ныя ночи, лунный свѣтъ, тробовая тишина днемъ и ночью, бабы, старухи—все это располагаетъ къ тѣни, равнодушію и къ большой печени». Хорошо, что за воротами—лавочка, на которой можно посидѣть и, глядя на бурое поле, подумать о томъ, о семъ».

Но мы знаемъ, что, какъ человекъ, Чеховъ не только сидѣлъ на лавочкѣ, на заведенкѣ, не только созерцалъ и думалъ о томъ, о семъ,—онъ съ домохозяиномъ сочеталъ въ себѣ путешественника, и были въ его жизни героическіе моменты. «На душѣ спокойнѣе, когда вертишься». Онъ достаточно вертѣлся по свѣту, этотъ любитель лавочки. Онъ любилъ «понохатъ палубы, моря», зналъ не только Европу, но и Амуръ, Байкаль, Цейлонъ; его мучительнотрудная побѣда на Сахалинѣ обнаруживаетъ въ его тихой душѣ такіе порывы, такое любопытство натуры, такую чрезвычайную заинтересованность, какихъ многіе отъ него и не ждали. То, что онъ видѣлъ на Сахалинѣ, гдѣ «мы сгноили въ тюрьмѣ миллионы людей», должно было на сердце его наложить лишнюю тѣнь, провести въ немъ лишнюю борозду мрака. Но уже и по дорогѣ туда какъ страдалъ Чеховъ! Онъ рассказываетъ объ этомъ въ своей обычной юмористической манерѣ; онъ «купилъ себѣ большой ножикъ для рѣзанія колбасы и охоты на тигровъ»,—вооруженъ съ головы до ногъ; но вооруженіе не спасало его отъ голода и грозныхъ опасностей. Онъ «въ лютый морозъ и метель обился съ дороги, напужался страсть»; не разъ его жизнь висѣла на волоскѣ, и онъ вообще испытывалъ на своемъ вѣку трагическія ощущенія. Не трагично, но не легко и такое состояніе. «Всю дорогу я толкался, какъ собака. Даже о гримежной каршѣ мечталъ. По цѣлымъ часамъ мечталъ».

«Напужался страсть»... Однако, жилъ Чеховъ такъ, что своего полута передъ жизнью и передъ смертью онъ не показывалъ. Напротивъ, передъ жизнью и передъ смертью у него—чувство достоинства, человѣческаго гордости. Спокойно, не обнаруживая своихъ страданій, мукъ Лаокоона, описываетъ онъ ужасы—не только чужіе, но и свои. Изліяній онъ себѣ не позволялъ. На его глазахъ умирали,—блѣднѣе становился Чеховъ, но сохранялъ все то же человѣческое достоинство и сдержанность. Умеръ его братъ-художникъ (передъ смертью завелъ онъ себѣ котенка, игралъ съ нимъ, умирая). «Вчера, 17 іюня, умеръ отъ чахотки Николай. Лежитъ теперь въ гробу съ прекраснѣйшимъ выраженіемъ лица. Царство ему небесное,—а вамъ, его другу, здоровья и счастья», трогательно прибавляетъ Чеховъ. Онъ знаетъ, что катастрофа неминуема, но когда у постели больного смѣнилъ его третій братъ, измученный Чеховъ уѣхалъ подышать другимъ воздухомъ. И какъ бы въ наказаніе, несмотря на лѣто, погода застала его въ пути ужасная: холодъ, вѣтеръ, грязная дорога. Сѣрое небо, слезы на деревьяхъ; и какъ только онъ пріѣхалъ на мѣсто ожидаемаго отдыха, явился изъ Миргорода мужиченко «съ мокрой телеграммой: Коля скончался». Сейчас же—обратно. Въ Ромнахъ надо было ждать побѣда съ семи часовъ

вечера до двухъ ночи. «Помню, сижу въ саду; темно, холодно, страшный, скука аспидская, а за бурой стѣною, около которой я сижу, актеры репетируютъ какую-то мелодраму»...

Самообладаніе, цѣломудренность души, страдающей про себя, не на людяхъ,—все это осуществлялъ Чеховъ и передъ лицомъ собственной горькой судьбы. Писала его веселость вмѣстѣ съ его жизнью; больно читать о его боляхъ. «Нѣсть числа недугамъ моимъ». «Здоровья своего я не понимаю». Но нѣтъ,—врачъ, онъ его хорошо понималъ... «Вы совершенно вѣрно изволили замѣтить, что у меня истерія. Только моя истерія въ медицинѣ называется чахоткой». Онъ всю жизнь умиралъ. Но онъ не жаловался, другихъ своей болѣзنیю, своей «истеріей», не изводилъ, не стѣснялъ, и, не измѣняя своему юмору, спокойно-печальными глазами своими смотрѣлъ въ глаза подхлѣбывшей смерти, выдерживалъ ея пристальный взглядъ. «Morituri salutant»,—писалъ ему одинъ старикъ. Этотъ moriturus надолго пережилъ своего молодого корреспондента. Уже ровно десять лѣтъ, какъ прекратилась переписка и жизнь Чехова. 2 іюля 1904 г. въ чужомъ Баденвейлерѣ сказалъ онъ по-нѣмцки: Ich sterbe,—сказалъ и умеръ. А за полгода до этого, 17 января, въ день его рожденія, въ день сщепскаго рожденія его «Вишневаго сада», лебединой тѣни Чехова, съ нимъ на сценѣ Художественнаго театра навѣки просталась, какъ сознали потомъ, давала ему послѣднее нравственное цѣлованіе, его любимая Москва, идеалъ его и нашихъ трехъ сестеръ. Предметомъ восторженной оваціи былъ онъ въ этотъ памятный вечеръ; блѣдный, смущенный, съ застѣнчивой улыбкой, среди цвѣтовъ и лавровъ, стоялъ онъ, пожималъ руки мужикамъ, цѣловалъ руки женщинъ. Помнили, что онъ боленъ и слабъ, его просили сѣсть въ кресло; но онъ стоялъ—и покашливалъ. Черезъ полгода были опять цвѣты и лавры, и многотысячная толпа людей,—но уже въ отсутствіи Чехова, на его похоронахъ, на кладбищѣ московскаго Дѣвичьяго монастыря. Сегодня тамъ будутъ служить панихиду по рабѣ Божьему Антонѣ и, такъ какъ рядомъ—могила его отца, то молитвенно помянутъ и раба Божьяго Павла,—соединить знаменитаго сына и безвѣстнаго отца въ этомъ растративающемъ сосѣдствѣ и единствѣ человѣческихъ судебъ, въ демократической республикѣ смерти...

Чеховъ многое могъ бы еще взять отъ жизни, и жизнь многое взяла бы еще отъ него. Не только рассказы, но и письма его волнуютъ зрѣлищемъ нашей горестной земной судьбы, и говорятъ они о томъ, какая съ Чеховымъ прекрасная дорогая душа отдышалась, сколько, помимо таланта, царилъ въ ней живыхъ очарованій и свѣтлой человѣческой красоты! И потому отъ его ранней могилы въ поэтическомъ Дѣвичьемъ монастырѣ тоже какія-то чары исходятъ, какая-то плѣнительная элегія звучитъ, и не умолкаетъ, и все плачетъ и поетъ въ музыкѣ нашей литературы грустная и сладостная скрипка Чехова...

Ю. Айхенвальдъ.